

ственный вывод из марксизма, поскольку последний выступает открыто и революционно (в форме коммунизма) с претензией на исключительность прав — социальных и политических — одного класса.

Тем самым, в фашизме марксизм (революционный) вызывает своего собственного могильщика. Вот почему сейчас, кажется, никто не боится больше «побед» революционного марксизма, т.е. коммунизма, чем сами коммунисты.

Так из эгоизма исходя и служа эгоизму, это учение вместо преобразования общественной и человеческой стихии, развязывает и мобилизует все частные антиобщественные эгоизмы. Когда то социализм сравнивали с христианством. Но христианство учит жертвенности и любви, а не ненависти и эгоизму. Как было сказано, христианство учит: отдай свое, социализм же учит: возьми чужое. И потому христианство могло просуществовать почти две тысячи лет, а социализм состарился, прежде чем успел созреть.

Как видим, жизнь, все же, в конце концов, устроена мудро и благостно, и она наделяет вечностью лишь то, что достойно вечности. Ничтожное и низменное и обречено на ничтожество.

К. Чернецкий.

Миф о человеке

Некоторые из наших противников пытаются третируют нашу идеологию, называя ее «утопией». Но известно, что почти все новые идеи, когда они появлялись, объявляли утопиями, — и не только их противники. Однако, проходило время, и эти «утопии» становились общепризнанными истинами, во всяком случае приобретали то или иное реальное значение. Давно ли еще к социализму относились, как к утопии, а теперь уже никто не станет отрицать того огромного влияния, которое он оказал на общее историческое развитие. В тоже время с другой стороны, когда новую идею ее противники обзывают «утопией», то это зато, во всяком случае, означает, что она действительно есть нечто «новое», не укладывающееся в общеприятые понятия и представления. «Быть великим, — говорил Эмерсон, — значит быть непонятым или ложно понятым». В том же духе можно сказать, что быть действительно новой и значительной идеей, значит казаться утопической идеей. Для обычного сознания реальное и общеприятное, твердо установившееся — почти тождественные понятия. «Утопия» это обычно то, чего, всегда преобладающий, филистер не может вместить в своей мозговой шкатулке, что выходит из ее убогих подразделений и — что еще хуже — ломает их. Тогда такая «утопия» объявляется опасным заблуждением, ересью и против нее в той или иной форме воздвигается гонение, — хотя бы в форме скрежещущего зубами «замалчивания».

Ведь в глазах такого филистера и Колумб был только авантюристом, так сказать, утопистом действия, — пока его «авантюризм» не завершился «успехом». Успех — единственное настоящее свидетельство в глазах филистера состоятельности и «жизненности» того или иного замысла и предприятия. И так как «успех», обычно, приходит лишь «потом», часто очень поздно, то самые великие замыслы и находения долго оставались филистерами «непризнанными», филистерами даже с очень высоким общественным и культурным положением. Больше того, эти последние как раз часто — самая злостная и общественно опасная разновидность филистерства. Вспомним десятки биографий великих ученых, искателей, новаторов и изобретателей, которые долго оставались «непризнанными» и гонимыми именно этой категорией филистерства. К тому же, светочами, водителями и обновителями человечества являются обычно как раз такие лица, у которых нет тех данных «ученности», академических чинов, обществ. положения и пр., которые только и могут имплонировать этому роду высокопоставленных ничтожеств.

А между тем, именно около таких «изобретателей» новых ценностей, — как говорил Ницше, — вращается свет. «Люди факта, —

писал Вл. Соловьев, — живут чужой жизнью, но не они творят жизнь. Творят жизнь люди веры. Это те, которые называются мечтателями, утопистами, юродивыми, — они же пророки, истинно лучшие люди и вожди человечества».

Пусть даже иногда они заблуждаются, впадают в утопизм, но эти «утопии», эти «заблуждения» это те «высокие заблуждения, за которые, — как говорит словами своего героя, Версилова, Достоевский, — люди отдавали всю жизнь свою и все силы свои, для которых умирали и убивались пророки, без которых народы не хотят жить и не могут даже умереть». Они те, что не только чают, но и вызывают чаяние нового, лучшего будущего, ибо указывают на него, создают предметы, пробуждающие идеализм, подвиг и самопожертвование. А «чаяние жизни будущего века... есть начало возникновения будущего». Без них человечество блуждало бы во тьме, знало бы лишь прошлое и настоящее и не знало бы главного: своего исторического Неба — Будущего. Ибо будущее все состоит из мечтаний, греч, идеалов, «утопий».

Что же касается нашей «утопии», то в ней в целостном и гармоническом синтезе соединено все, что можно сказать о нашей эпохе высокого, значительного и прекрасного — в ее дремлющих, призывающих творческую волю возможностях и заданиях. Поэтому если это и утопия, то это во всяком случае прекраснейшая из утопий, ибо она соткана из того, что есть самого возвышенного, отрадного и величественного в изначальных чаяниях человека, проходящих через всю историю его творчества и творческой надежды и мечты.

Нам говорят, что это миф. Да, в известном смысле это мир (миф — не тоже самое, что утопия), но миф, который один достоин современного человека, в котором одном воплощена вся мера его сил. Это миф о Человеке — Прометее — Победителе — Творце, демиургический миф о творческом Призвании человека. Поэтому если в наше время возможен идеализм абсолютного Стремления, соразмерный современному Сущему образ Должного, то он может быть лишь таким.

И пусть такой идеал кажется «нереализуемым», пусть — как нам говорят — он современному человеку еще не по плечу. Но разве был хоть когда нибудь, хоть один «реализованный» идеал, разве было или может быть «реализовано» христианство, даже социализм, анархизм, даже демократия с ее принципами свободы, равенства и братства? И тем не менее, все эти идеалы в высшей степени реальны даже в своей «не реализованности»; реальнее многого из того, что действительно реализовано. Не было ни одной реализовавшейся идеи, и в тоже время каждая идея будет реализована в конце концов, когда наш полу-реальный мир явится торжеством действительно реального. При этом величайшим актом подлинной реализации идеи является ее рождение. То, что родилось, то уже не может умереть. А то, что не может быть побеждено смертью, не может быть побеждено ничем. Поэтому создание идеи всегда расценивалось выше, чем ее применение.

Филистеру и пошляку никогда не понять, что даже в своем «нереализованном» виде некоторые идеи реальнее, чем все его наиреальнейшие реальности. Ведь в известном смысле даже никогда «не существовавший» Фауст Гете реальнее любого живого, физически существующего Петрова, Иванова, Сидорова. Понятие реализации Идеи совсем не того порядка, какой в состоянии вместить курносый кругозор филистера: оно шире, выше и глубже его. С точки зрения этого критерия реальности он со своими «реальными» понятиями представляет лишь жалкую соринку, плавающую на поверхности океана бытия

В действительности наша «утопия», наш «миф» в известном смысле, реальнее любой из современных идей, как бы они ни были ошутительно-явственны для сознания филистера и пошляка, ибо она ответствует самому большому, самому общему, самому глубокому и возвышенному, что есть в существе современной эпохи. Ничтоже-ству сознания свойственно из-за деталей не видеть главного, из-за деревьев не видеть леса. Так из-за деталей «текущих событий», из-за частного, случайного, поверхностного и преходящего в потоке современности оно не способно видеть ее главного, общего, ее самого значительного и основного — ее Леса, ее Горизонтов, ее Башен, ее Фундамента.

Но кроме того, идеи приходят не только затем, чтоб воплотиться, но и затем, чтоб осветить, чтоб дать имя, чтоб сообщить высшее субъективное бытие в сознании тому, что существует лишь как объективное бытие в факте. Так, например, если бы Пугачевский бунт был отмечен именем соответственной идеи и был и субъективно, в сознании тем, чем он был объективно, в социальной действительности, то он вошел бы не только в нашу летопись, как простой бунт, но и в нашу историю, как огромное социальное событие.

Точно также есть слова, которые лишь тем, что они были произнесены, радикально изменяют мир. Оттого ли, что они были так прекрасны или потому, что они были столь страшны, правдивы или отрадны — все равно, но высказанное в них, произнесенное, названное, вошло в мир и он тем самым, стал иным уже. Как перед произнесением «пароль» постовой отступает и пред ним открывается право входа в место, быть может, рокового значения, так имеются слова, произнесение которых, как «пароль», развешивает замкнутые до того входы бытия, которые, быть может, открывают новые миры, или такие тайны, от которых зависят судьбы этого мира. «Часто одна мысль, — говорил Гете, — изменяет образ целого столетия».

Нужно верить в силу Слова, в силу Мысли, в силу Идеи и Идеала, нужно преодолеть в себе то духовное хамство, которое сказывается в таком неверии. — Тогда мы меньше будем злоупотреблять и такими понятиями, как утопия и будем не только лучше видеть, но и больше мочь.

П. Б.